

В 1943 году, после взятия Перекопа, на Ишуньских позициях в Крыму командующий артиллерией второй гвардейской армии Стрельбицкий инспектировал свои батареи. На одной из них он приметил молодого лейтенанта, судя по внешности — южанина, который постоянно шутил с солдатами, командовал легко и весело и под непрерывным вражеским обстрелом чувствовал себя, как на прогулке. Солдаты его обожали. В следующий раз генерал его встретил полмесяца спустя, уже под Севастополем. Лейтенант на грузовике привез в полевой медсанбат раненого в обе ноги старшину. Генерал ему выговорил за то, что старшину везли, не дожидаясь темноты, — могли попасть под обстрел... Лейтенант виновато ответил, что боялся медлить — вдруг гангрена?

В тот день батарею лейтенанта разбили: артиллерия была максимум на четыре километра, так что к врагу ее придвинули буквально вплотную. В считанные часы не осталось ни одного орудия. Снаряды, однако, уцелели, и лейтенант со своим шофером Витей Акуловым, бывшим военным моряком, повез их на соседнюю батарею, где еще было из чего стрелять.

Это был не просто подвиг — самобийство. Дорога простреливалась идеально. Машина еле карабкалась в гору. Подъем кое-как одолели, вылезли на плоскогорье, но тут их стало видно уже отовсюду: налетели два «юнкерса». Обоим пришлось выпрыгнуть из машины и залечь под колеса. «Юнкерс» заходил прямо на них. Лейтенант успел еще пошутить в своей манере — береги, мол, Витя, прическу, — и тут же рядом, в траншею, ухнула бомба. Осколки, по счастью, пошли вверх, тут подоспели наши истребители, «юнкерсы» ушли, а лейтенант пошел впереди еле двигающейся машины, показывая маршрут среди воронок. Уцелевший шофер расскажет обо всем этом, но позже, много позже... Батарея, куда они сбежали, была уже в двух шагах, лейтенант замахал рукой — и тут же рядом разорвался снаряд.

Все, что наблюдал за лейтенантом с его батареи, не сомневались: погиб. Чудес не бывает. Самая обида в том и была, что снаряды эти он, по сути дела, довез, успел, и было ему всего двадцать лет. Стрельбицкий, всего-то два раза его и видавший, очень о нем говорил и на всех встречах с пионерами, которых после войны у него было много, рассказывал про чернотазого лейтенанта, а после одной из таких встреч услышал, как артист филармонии читает стихи поэта Асадова — как раз о защите Севастополя. Поэт тоже там вошел и, по мнению генерала, в материале ориентировался. Стрельбицкий решил с ним созвониться и рассказать про лейтенанта — может, Асадов напишет, он поэт очень известный, пусть молодежь знает...

Он достал в Москве телефон Асадова и стал ему рассказывать про молодого веселого лейтенанта, которого так любили солдаты, который так лихо закурился под огнем, и над шутками его покатывались все — представляете, он одному молодому солдату сказал, чтоб тот берег уши, а то по полухому легче попасть... и это как раз перед тем, как ехать на смерть! Надо написать, пусть знают, погубил же парней всего в двадцать лет!

— Не погубил, — сказал Асадов после некоторой паузы. — Вы меня не узнаете, Иван Семенович? ...Карабахский армянин Эдуард Асадов был тогда ранен в голову, перенес двенадцать операций (почти все — под местным наркозом или вовсе без него), навсегда потерял зрение и стал самым известным советским поэтом. Не спорьте — самым! В утешение ревнителям чистого искусства могу напомнить, что популярность ведь — не качественный показатель, она об аудитории и о поэте говорит поровну... Но факт есть факт: в славе с Асадовым не могли соперничать ни Евтушенко, ни Окуджава, ни Ахмадулина. Их слава — хоть чуть-чуть, а элитарная. А Эдуард Асадов был любимым поэтом советского народа — с конца пятидесятых до начала восьмидесятых, а по некоторым сведениям, и позже. Суммарный тираж книг Асадова, которых набегает около сорока, достиг трех миллионов, и их было не достать! Ни одного поэта в мире, кроме автора

государственного гимна СССР Сергея Михалкова, так не издавали! А Асадов не был автором государственного гимна, сочинил лирику — любовную и патристическую, — не имел от государства награды, кроме боевых, не награждался премиями, не печатался в журналах, не занимал должностей и не участвовал в проработочных кампаниях.

Последняя книга вышла у Асадова десять лет назад. Он живет в маленькой квартирке недалеко от проспекта Мира с женой Галиной Валентиновной, артисткой-чтицей, вместе с которой он главным образом и выступал. Никаких доходов, кроме пенсии, у него нет. Сумму пенсии он назвать отказался — карабахский армянин, фронтовик, гордость... Гордость он сохранил вполне, достоинство — тоже. Никакой зависти, никакого злопыхательства в адрес более удачливых литераторов, никакой обиды на то, что его никто не помнит... Хотя что я говорю? Это в прессе, в столичных газетах, в литературных или жирных журналах о нем ни слова, и это естественно. У весьма многих, когда я говорил, что был у Асадова, брови съезжали на затылок: так он жив! Жив, ему семьдесят четыре года, он прекрасно выглядит и каждое утро делает двухчасовую гимнастику с четырехкилограммовыми гантелями. И все это время пишет — практически без единой публикации, с твердо приставшим к нему ярлыком графомана и имитатора, олишветворенного кича...

Есть у Асадова маленькая дача в Красновидах: единственное, по сути дела, его достояние. Все, что нашл он за тридцать лет непрерывной работы и исключительной славы, все, что скопил почти ежедневными выступлениями и множественными выступлениями и множественными выступлениями, где несправна телефонная линия, ему все время звонили, попадая не туда. — Это больница? — Нет, это квартира поэта Асадова, — отвечает его жена. — Поэта Асадова?! Это который — «а счастье, по-моему, просто бывает разного роста»?

К сведению современных русских литераторов, это и называется славою — когда вам ошибочно звонят на квартиру и цитируют ваш текст, едва услышав фамилию: заметьте, и после десяти лет глухого официального забвения, всегда постигающего в нашей стране кумиров массовой культуры. А то, что Асадов к ним принадлежит, — думаю, не вызовет особых возражений и у него самого. Это тоже литература, только другая. Феномен, отчасти близкий, с одной стороны, к фольклору, а с другой стороны — к поп-культуре. Что, в общем, сегодня синонимично.

— Эдуард Аркадьевич, по-моему, по-вашему, вы были в числе самых известных русских поэтов?

— Я убрал бы слово «был»... Если поэт состоялся, он состоялся навсегда. Я, мне кажется, имею право о себе так сказать. Помните, Доризо писал — «чтоб именем стала фамилия»? Меня по-прежнему узнают в электричках, звонят домой, я получаю читательские письма — всего за годы моей литературной работы их больше ста тысяч... И выступления бывают, только ведь наша культура сейчас растоптана. Поэту нелегко себя хватить. Человечески интересно то, что — о нем. Вот мои стихи — они о моих читателях. О рабочих и об интеллигенции, которые, между прочим, у нас в Советском Союзе не так уж и отличались по уровню... Возможно было



фото Влада Бурьякина

САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ ПОЭТ САМОЙ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ

приехать на завод, на ферму — и читать самые серьезные стихи.

Это я подтверждаю. У нас были умные рабочие. Интеллигенты от них отличались главным образом безразличностью к труду и брезгливостью в смысле политическом, — если опять же говорить о так называемой богеминой интеллигенции, а не о пролетариях-врачах и пролетариях-учителях. Форма бытования асадовских стихов всегда была специфична, а жизнь и работа сходны с жизнью и работой эстрадной звезды: огромное количество разговоров и гастролей. Слава Асадова была такова, что он давал по три, по четыре вечера подряд — и все шли и шли, некоторые — по много раз, и билетов не хватало. Стотысячные тиражи его сборников разлетались стремительно. В журналах он почти не печатался, прекрасно понимая, что литература в ее традиционном понимании — все-таки не совсем его среда. Его тексты рас-

«Чуковский так меня разнес — живого места не осталось. А в конце приписал: и все-таки вы истинный поэт...»

считаны главным образом на устное произнесение, на мгновенное восприятие, как песня. Тому есть объяснение: в силу самой своей биографии он оказался поэтом устной традиции, поэтом, лишенный зрения и чтения, воспринимающим слово на слух. Азбука Брайля кажется ему слишком медленным, неудобным способом читать: жена читает ему вслух, он следит за всеми новинками... Сам он просил не слишком педантично читать ему своей слепоты:

— Пусть в нашем разговоре будет лирика, а не клиника. Я уважаю его истинно солдатское

стремление никак не подчеркивать своего увечья, никогда не упоминать его в предисловиях, выступлениях по радио и пр., — или упоминать очень бегло. Но именно эта вынужденная приверженность к устной традиции наложила свой отпечаток на его стихи, сделав их зачастую длинными и многословными.

Славу Асадову принесла пространная лирическая повесть в стихах «Галина». Тогда жанр повести в стихах был вообще популярен: соблазна не избежали Пастернак, Доризо, Смеляков, Долматовский, Софронов, Саянов, даже одареннейший Антокольский и Самойлов — все оставили по роману либо повесть в стихах, с историко-революционным уклоном и элементом здорового соцреализма, с авторскими отступлениями и неременной комсомольской любовью. Читается легко, глотается, как макароны. На этом фоне повесть Асадова «Галина» еще очень даже ничего. Слезы, во всяком случае, кажутся: у нее и у читателя.

— Это не подлинная история, я стараюсь реальных историй не брать, а как-то их переосмысливать. Истории, описанной в «Петровне» (молодая девушка-врач в деревне, любимый со скуки ее бросает, уезжает в город, потом винится, открытый финал, простит — не простит, слезы. — Д.Б.), тоже не было, я ее придумал, но, мне кажется, такое происходило сплошь и рядом... А после «Галины» — года через два или три — я получил письмо от женщины, которую точно так же звали Галиной, и муж — Андрей, и была Татьяна... Она поражалась, откуда я так все знаю, и обижалась только, что не переименовала.

— Интересно, а «Баллада о любви и ненависти» имеет под собой какую-то реальную почву? Это же одно из самых известных ваших стихотворений...

— Когда ее Галина Валентиновна читала на вечерах, секунды две-три стояла полная тишина, а потом —

взрыв аплодисментов, что-то оглушительное! (Асадов не видел своих переполненных залов. Но он слышал их — гром оваций, рыдания, крики — и чувствовал тысячу рук, тянущихся пожать его собственную красивую, аристократическую, нервную руку, такой остающаяся и до сих пор. — Д.Б.) Нет, конечно, ничего подобного не происходило. Это ведь романтический сюжет: вы задаете утилитарные вопросы — было, не было, — а знаете ли вы слово «романтика»? Там же предельная ситуация: после катастрофы замерзает летчик, связь с ним только по радию, найти его не могут — ночь, буря, — надо продержаться до рассвета. А он по радию передает, что сейчас замерзнет. И тогда в рубку радиста приводят жену: она сначала пытается его удерживать на свете любовью, молтвами — ничего! И тут она женским своим чутьем понимает, что ненависть бывает сильнее любви. И говорит ему: «Я хочу, чтобы ты знал: я люблю другого, твоего лучшего друга, и завтра мы с ним едем в Крым». И сила ненависти оказывается такова, что летчик всем смертям назло доживает до утра, — а когда его находят, она ему во всем признается, потому что ненависть «не самая сильная вещь на свете». Могло ли такое быть? Наверное, могло. Но для меня не это главное.

— И конечно, самое знаменитое ваше — «Они студентами были, они друг друга любили»?

— Там... на самом деле было подобно.

— С кем?

— Со мной.

Первый брак Асадова оказался несчастливый. После ранения он был убежден, что жизнь его кончена, что он никому теперь не нужен...

— Две вещи тогда спасли меня: письмо Чуковского и женская любовь. Я писал стихи с детства и в конце войны Чуковскому послал их потому, что знал: этот критик снисходителен не будет. Он дей-

ствительно так меня разнес — живого места не осталось. А в конце приписал: и все-таки вы истинный поэт, со своим голосом, со своим дыханием, иначе бы не стоило всего этого вам писать. А второе, что меня спасло, — женщины. Не меня выбирали, а мне пришлось выбирать: шесть девушек сами предложили мне руку и сердце. Я был довольно интересный, — могу это о себе сказать, потому что сейчас все это в прошлом, — так что женщины меня любили. Я, конечно, не был ловеласом, но многое из того, что я пишу, — было со мной. Я выбрал тогда не лучшую. Не хочу об этом много говорить: она обманывала меня.

За асадовскими умолчаниями стоит история почище набоковской «Камеры обскуры»: грех об этом напоминать, но ведь его обмануть было проще... Так что история о студентах, которые друг друга любили, а потом он застал ее с другим и ушел, «не взяв ни рубля, ни рубашки», — не романтический вымысел.

— А со второй женой я познакомился, когда мы, молодые поэты, читали на Строминке, в конце августа 1961 года. Она просила ее пропустить вперед: артистка, чтица, уезжает на гастроли... «А что у вас за программа?» — спросил я. Она отвечает: «Женщины-поэтессы в борьбе за мир». Я пошутил в ответ — первый раз слышу, чтобы за мир боролись по половому признаку, что-то в этом роде... «И я обиделась. Осталась меня послушать. Ей понравилось, она стала включать мои стихи в свои программы... С тех пор мы вместе.

Настоящая слава Асадова связана не с военными и не с патристическими стихами (последних относительно немного, он никогда не спекулировал на этой теме), а именно со стихами о любви, со студенческими и средне-интеллигентскими лав-сториями: измена, раскаяние, простит — не простит, слезы. Асадов — поэт сентиментальный и назидательный, как Карамзин (и, как Карамзин, он обивает пафос дружелюбной иронией, ибо читателя своего искренне любит). Стихи его часто называли рифмованными прописями. Он любовался кремневой твердостью своих неярких, неброских, но непрощающих геринь, — и он же от души, горячо прощал своим не постоянным героям, страдал за них, жалел их... И девушки рыдали над его «Рыжей дворнягой», а Евтушенко издевался над девушками «с парой асадовских строк под кудряшками»...

То, что стихи Асадова не выдерживают никакой критики с точки зрения литературных критериев, — вещь настолько очевидная, что доказывать ее смешно. Это не поэзия — или, верней, другая поэзия. Подобные стихи пишут почти все читатели Асадова: библиотечкари, курсанты, офицерские дочки... Только у него, конечно, глаже, строже, сюжетней. Но ценности, утверждаемые им, — ценности нормальные, хорошие, и хотя я не люблю ни стихов Асадова, ни их читателей, — я глубоко уважаю его как человека. Да и их временами уважаю, ибо, глупые или не глупые, пошлые или не пошлые, они все-таки составляют большинство моего народа. А воспитывать народный вкус бесполезно. Я совершенно искренне полагаю, что ситуация, при которой 100 из 150 опрошенных комсомольцев любимым поэтом называют Асадова (так было в семидесятых, об этом писал «Комсомолка»), — нормальная. И пусть лучше знают назусть «Балладу о рыжей дворняге», этот безусловный поэтический суррогат, нежели «Зайку мою»: вы спросите, какая разница? — есть разница. Да, это поп-культура. Но другой массы не хавают. Более того: недавно один киевский врач написал Асадову, что медикаментов не хватает, бинтов, простынь нет, — и тогда, нищий, беспомощный, чужой на независимой Украине, он приходит к своим больным и читает им вслух Асадова. И им легче. Охотно верю. Мне как-то в армии попался сотрудник Асадова — мне дала его пролистать дочка замполита, очень глупая, но сострадавшая солдатам девочка лет четырнадцати. И верите ли, я, на гражданке ругавший Пастернака за лурновкуисе, — я чуть не расплакался над этим бурником! Потому

что я в армии мало ел и много страдал, а такой человек к рифмованному тексту по определению восприимчив.

— Мне говорят, что я поэт для девушек. Но разве девушки — не люди? Впрочем, Асадов не в обиде на критику. И на официальное забвение.

— Эдуард Аркадьевич, как вы пишете?

— У меня давно отработанный механизм. Я наговариваю на магнитофон, потом слушаю, правлю и печатаю на машинке, причем печатаю со скоростью профессиональной машинистки.

Асадов действительно печатает очень быстро, свободно ориентируется в комнате, двигается со своеобразной восточной грацией, — о его слепоте забываешь, хотя лицо с неизменной черной повязкой выглядит подчас пугающе. Нечеловеческой своей волей он заставлял себя перелопатить со слуха гору литературы, окончить Литинститут (вместе с Тендряковым, Гамзатовым, Бондаревым), выучиться печатать, обращаться с любой техникой, столарить, слесарить, полностью обслуживать себя, шить... Воле его удивлялись врачи.

— Когда мне было пятьдесят, женщина-врач мне сказала: пора бросить курить. Как, я же курю с двенадцати лет, начал во дворе, на слабо! Тридцать восемь лет курю — главным образом папиросы. Ну вот, говорит врач, не хватит ли? И я решил: хватит. Пришел домой и сказал домашним: все, выкуриваю свою последнюю папиросу. Никто не принял этого всерьез. Я положил около кровати пачку «Казбека» — в ней оставалось двенадцать папирос — и спички. В этой пачке до сих пор двенадцать папирос.

— Я знаю, что вы часто бываете в Севастополе. Вы почетный гражданин этого города. У вас есть свое отношение к проблеме флота?

— Конечно. И к проблеме раздела Советского Союза вообще. Никакое разделение не делает людей сильнее, запомните. У меня есть четверостишие: «Не могу, не хочу, не смирился и в душе все границы сотру. Я в Советском Союзе родился и в Советском Союзе умру».

— То есть к советской власти у вас нет претензий?

— Множество! Это у меня к Советскому Союзу нет претензий, и я продолжал жить в нем. Но как бы мы ни относились к советской власти, я смирился не могу с тем, что нас огулывают, что отовсюду несутся чудовищная пошлость, что раньше нас уважали, а сегодня протыкают два пальца и разговаривают через зубу... Главнее же — это страшное обованчивание, вытравливание культуры!

И я совершенно согласен с Асадовым, ибо он все-таки имеет к

О слепоте Асадова забываешь, хотя лицо с неизменной черной повязкой выглядит подчас пугающе.

культуре большее отношение, чем Вика Цыганова и тем более чем Андрей Бартенева, или Константин Кедров, или прочие — исты и квази—. Только согласитесь ли Асадов, что миллионные тиражи попы — не что иное, как реакция на миллионные тиражи его книг, его суррогатной поэзии? И надо ли это объяснять человеку, ставшему кумиром и образцом для миллионов, — человеку красивому, мужественному, настоящему солдату, добряку, сострадателю...

— Как вы себе представляете вашего сегодняшнего читателя?

— Мои стихи больше всего любят военные, которые не любят воювать.

Надо издать новую книгу Асадова — она станет бестселлером. Надо устроить ему вечер в самой большой аудитории Москвы — она будет забита до отказа. Надо вернуть народу этот кич, чтобы отбить охоту к суперкичу, заполнить нашу страну. Эта культура все-таки несет в себе и добро, и красоту, и сострадание: в том виле, в каком они понятны стране. И я, сноб, гурман, смакователь, — низко кланяюсь Асадову, самому известному поэту самой большой страны.

Дмитрий БЫКОВ.